

18+ Михаил Федотов

# *Банька по-чёрному*

Бар-мицва. Банька по-чёрному. Рубеж.



Михаил Федотов

**Банька по-чёрному. Бар-мицва.  
Банька по-чёрному. Рубеж.**

«Издательские решения»

**Федотов М. В.**

Банька по-чёрному. Бар-мицва. Банька по-чёрному. Рубеж. /  
М. В. Федотов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857297-5

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ  
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН  
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.«..Был мальчик шестнадцати лет — муж, была  
красивая женщина — его первая жена, была её дочь, рыжая падчерица,  
годом младше мужа, была страшная сказочная баня, которая всё видела и  
знала, были взрослые люди, которые нами играли, и была страшная война,  
которая оправдывала всех». (Банька по-чёрному)«Заир. Недалеко от Киншасы  
разбился транспортный самолет... 300 человек погибли... 253 раненых».  
(Рубеж)

ISBN 978-5-44-857297-5

© Федотов М. В.  
© Издательские решения

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Бар-мицва                         | 6  |
| Банька по-чёрному                 | 14 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 18 |

# **Банька по-чёрному Бар-мицва. Банька по-чёрному. Рубеж.**

**Михаил Васильевич Федотов**

*Фотография обложки Александра Чернявская*

© Михаил Васильевич Федотов, 2017

ISBN 978-5-4485-7297-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Бар-мицва

*Посвящается министру внутренних дел Израиля.*

*(Бар-мицва – день тринадцатилетия, обозначающий наступление зрелости еврейского мальчика. Празднование бар-мицвы – одно из доказательств «еврейства», которое жестко требуется министерством внутренних дел Израиля, борющегося с приездом в Израиль лиц с «подозрительной кровью». Интересно, что Гитлер признавал евреем человека, у которого было больше одной восьмой еврейской крови с отцовской или с материнской стороны. Государство Израиль давно уже категорически препятствует въезду в страну людей, у которых доказано еврейство только по отцу или по линии отца матери. То есть существуют сотни тысяч людей, которые «по Гитлеру» подлежат уничтожению, а «по Израилю» не подлежат спасению.*

*Господи! До чего же ничтожен человеческий род, который Ты создал!)*

Мой старший брат Исаак любит повторять, что все, что ни делается – все к лучшему. Когда мы были мальчишками, я это выражение ненавидел и всегда этого «лучшего» побаивался. Но сейчас Исаак застрял в Запорожье с русской женой, с русскими внуками и совершенно русским инфарктом. А я уже пятый месяц не могу получить в Израиле никаких документов, меня даже не признают евреем. И я сам начал осторожно употреблять это дурацкое выражение и пробовать его на зуб. И сразу выяснилось, что действительно инфаркт Исаака «к лучшему», во всяком случае, он дотянет с ним в Запорожье до пенсии. И то, что осколки в моей башке побаливают, – это тоже «к лучшему», потому что ни начни они болеть, я снова потащился бы работать на стройку, и этот рассказ, в котором я сам себе доказываю, что я еврей, никогда не появился бы на свет. На стройке я предъявляю документы – по ним мне пятьдесят девять лет, и, в конце концов, если разбираться, по сути, то сотрудник министерства внутренних дел, который уже полгода не выдает мне израильский паспорт, конечно, прав. Он своим чутьем канцелярской крысы понимает, что документы мои не совсем в порядке. Но он, видимо, думает, что просто я не еврей, поэтому в следующем месяце мне предстоят два раввинатских суда по выяснению национальности. Я уже представил в Министерство внутренних дел копии восемнадцати справок, я привез им оригинал свидетельства о рождении своего сына и копию свидетельства о рождении племянника, который живет в Хайфе. Но на вопрос чиновника, прошел ли я бар-мицву, я ничего вразумительного ответить не смог. И еще я не смог представить свидетельство о смерти матери. Когда я начал объяснять израильским чиновникам, что начальником полиции был осетин, а юристом был отец Юрки Плисецкого, но связаться с ними у меня нет никакой возможности, то это ни к чему не привело. И меня просто вывели из кабинета на улице Королевы Шломцион с помощью полицейского. Более того, когда мою папку перенесли в другой кабинет, выяснилось, что и там все мои данные перепутаны, что чиновники присвоили мне имя отца, а отцу – покойного деда и еще меня женили на моей теще. Тогда я уже окончательно понял, что все к лучшему и никак ускорить эти таинственные события, которые происходят в израильских министерствах, нельзя.

А потому теперь я могу попытаться сам начать распутывать эту историю, в которой меня зовут Зиновием Ефремовичем, а до войны звали «Монькой». И еще выдать самому себе свидетельство о смерти матери, а главное, ответить на вопрос, являюсь ли я достаточным евреем без бар-мицвы, для того, чтобы мне, наконец, вручили израильский паспорт или хотя бы вид на жительство. Но для этого мне нужно мысленно вернуться в город, в котором мы жили перед войной, а о сегодняшнем дне постараться пока не думать.

У меня в руках несколько сохранившихся семейных фотографий – оригиналы я отдал в израильское МВД, а копии хочу использовать для реконструкции идилической картины еврейского довоенного быта.

Вот это фотография Запорожья. Задрипанное местечко. А вот это мой класс, я стою перед Исааком. Это мать со своими младшими сестрами, а вот выцветшая детская фотография отца, он не похож ни на меня, ни на Исаака.

Запорожье я помню с момента, когда я пошел в школу. Это был маленький городок на две-три сотни тысяч, чуть меньше, чем сегодняшний Иерусалим. Отец мой был простым возчиком, как в Египте на строительстве пирамид. В Запорожье по ГОЭЛРО строилась первая гидроэлектростанция, и было счастьем устроиться на строительство возчиком. То, что отец был возчиком, сохранилось в архивах КГБ и указывается в справке, которую товарищи мне любезно прислали перед самым моим отъездом. Мы жили в землянке 118, там, где строился алюминиевый завод. Отец даже назывался «хозяйственный извозчик-единоличник» – своя лошадь, своя корова. Лошадь и корову держали дома. Там, где сейчас завод «Запорожсталь», мы с Исааком пасли корову.

За селом Вознесенка начинался новый город с жутким названием «СОЦГОРОД». Сначала построили Днепрогэс, потом Соцгород, но он жил за счет села Вознесенка. Мы воевали с Вознесенкой, потому что там жили единоличники, а мы, то есть рабочие поселка, постепенно отрезали их земли. Сколько бы отец ни зарабатывал, кормила нас все равно наша корова. Мать ходила по рабочим баракам и кричала «кому молока!». В день корова давала литров по сорок. Мы с братом ходили на рынок и носили корове битые кавуны.

Потом Исаак пошел в первый класс. Меня не взяли, ведь мне было только шесть, но мы всегда были вместе с Исааком, и в школе я тоже не хотел с ним расставаться. Я был маленьким и нахальным и три месяца сидел в классе как полноправный ученик. Учительница знала, что меня нет в списках, но когда она выгоняла меня за дверь, я залезал в окно. Через три месяца я стал в классе лучшим учеником, и решили, что выгонять уже поздно. Исаак тоже учился неплохо, но хуже чем я. Евреев в классе было человека четыре. Я помню Аню Красник, которую расстреляли до нас, и был еще паренек, которого я через тридцать лет устрою работать на Запорожсталь слесарем. Я его, правда, не узнаю, но он меня вспомнит.

Я пытаюсь рассказывать только то, что было в счастливую пору до бар-мицвы, но Аня Красник и этот лопухий мальчик, будущий слесарь, оба есть на нашей классной фотографии, и я прошу министерство внутренних дел Израиля извинить меня за излишние подробности.

Отца арестовали в тридцать седьмом году. Когда его уводили, он погладил меня по голове – вот так, со лба.

Потом вывели дядю Хайма. Он был евреем-пьяницей и тоже ездил на лошади. И перерыли все в нашем доме. Мы остались одни. И лошадь. Лошадь и подводу мы продали, хоть лошадь можно было и съесть. В четырнадцать лет, уже в партизанском отряде, я получил свою вторую медаль за то, что я подсыпал нарубленную медную проволоку в корм румынским лошадям-битюгам. На лошадях начался мор. Румыны выводили их за околицу и там стреляли. А мы ездили на санях и рубили топорами куски мороженой конины для отряда. Но это было уже после бар-мицвы и к рассказу отношения не имеет.

Жизнь до войны была вечно голодной. Дома мы терли кукурузные початки, почему-то уже без зерен, и мама делала из них лепешки. Зимой тридцать девятого года у матери под кроватью хранилась большая тыква, но Исаак покатил ее, и тыква разбилась, пришлось ее съесть. Думали, что тыква будет храниться до весны.

Мать шила для людей и еще пошла работать. Она продавала возле алюминиевого завода мороженое – вафелька одна сверху, вафелька другая снизу. Мы шли мимо мамы по дороге из школы, она торопила нас доить коров. Коров в этот момент было две. Рябую зарезали уже, когда немцы должны были войти в Запорожье. Мы собирались уехать на Урал, но не успели.

Смогли уехать только люди, у которых были деньги. Нас хотел забрать с собой дядя Яша. Он в начале войны служил на острове Хортиц, за Днестром, откуда вылетали наши истребители.

Дядя Яша заехал к нам в начале августа с перевязанной головой, привез продукты, обещал нас увезти и исчез.

За Хортиц сражались довольно долго. Его отчаянно охраняла тридцатая застава, чтобы дать возможность вывезти авиационный завод. С сентября начались обстрелы, методично, два раза в день. Несколько снарядов попало в нашу школу. Как-то я вернулся домой, и ко мне зашел Вовка из нашего класса, он сказал, что недалеко от Хортицы затонула баржа с консервами, и мы поплыли. Солдаты нас не останавливали. Мы залезли на баржу, брали консервы под майки и относили их домой. Консервы были без наклейки, все в масле. Немцы тоже плавали на баржу, тоже без оружия, в одних трусах, но с противоположной стороны. Я плавал три раза. В последний раз немцы начали обстрел, и Вовку ранило. Мы его вместе с Исааком отнесли в Третью больницу на Пролетарскую. Последнюю порцию консервов красноармейцы у нас отняли, наверное, очень хотелось жрать. Но Вовку нести нам никто не помог.

Немцы зашли в Запорожье в самом конце сентября. Все без выстрела сдались. Настроение в армии было такое, что все равно война проиграна и вряд ли немцы пойдут далеко за Днестр. У меня самого тоже была мысль, что невозможно победить немецкую мощь. Сначала немцам были даже рады: их начальник поцеловал при въезде в город хлеб и соль. Но потом немцы стали забирать подростков на работу в Германию, и радости поубавилось. В этот момент в нашем доме жили две сестры моей матери и младший брат моего отца. Сейчас он в Хайфе – я недавно разговаривал с ним по телефону. Дядя Яша погиб в сорок четвертом году – я знаю это, потому что почти до конца войны его жена получала по аттестату. Отец мой в семье был самым старшим! Потом шел дядя Хаим, который тоже был арестован и расстрелян, дядя Исаак умер в Запорожье, дядя Сема, который сейчас в Хайфе, – он был водителем Главнокомандующего Черноморского флота, и еще был дядя Петя, который, предчувствуя войну, увез семью в Омск. Квартира дяди Яши долго стояла закрытой – мать послала нас с Исааком взять оттуда швейную машинку, а заодно мы разобрали дяди Яшин мотоцикл, который стоял в прихожей, и, назло немцам, покидали части в колодез. Соседи были русскими, они видели, но никому ничего не сказали, только просили нас быть поосторожнее.

Вообще ходить по улицам нам можно было только с повязкой на груди или на рукаве, но я был голубятником, меня в городе хорошо знали, и я ничего не боялся и ходил всюду, куда хотел. С июля весь город был в глубоких «щелях». Возле этих страшных канав я видел первый расстрел. Немцы выстраивали людей вдоль края рва и стреляли. Много щелей было в том месте, где сейчас заводской стадион. Там проводят игры на первенство завода: цех играет против цеха, платных игр нет. Я пошел смотреть расстрел, потому что велела мать: я свободно передвигался по городу, а она искала кого-то из своих теток. После войны людей оттуда выкопали и похоронили в братской могиле.

Был уже снег, зима. Начальником полиции был осетин, а юристом городской управы был отец Юрки Плисецкого.

Основные расстрелы начались к весне. В начале марта расстреляли девять тысяч. Мы с Исааком и его другом Зориком хотели уйти из Запорожья зимой, но мать нас непустила. Зорика расстреляли в начале февраля. На Тургенева, там, где стояла синагога, ходили старенькие евреи и говорили, что нужно собрать девять килограммов золота, чтобы спасти евреев от расстрела. Но они не собрали. Было слышно, как немцы расстреливают стариков, детей и женщин в совхозе Сталина. Уже становилось теплее. К весне в город приехал литовский карательный отряд. Сначала они стояли в Днепропетровске, потом приехали к нам. Сказали, что они будут охранять Гитлера. Гитлер приезжал к нам в Запорожье, когда на авиационном заводе начали сборку немецких самолетов, об этом было в кинохронике. Все готовились к тому, что евреев станут куда-то вывозить. На нашей улице тоже жило семей десять. Шли разговоры, что

создаются гетто, и все надеялись на румын. Там, где стояли румынские части, расстрелов было меньше, у них даже несколько генералов были евреями. Да и итальянцы относились к евреям неплохо. Наконец издали приказ, что двадцать восьмого марта нас повезут в Гуляй Поле, где создавалось гетто. Это место, откуда родом Нестор Махно.

Был первый день пасхи, и вот началось. Город был черным от полиции, машина шла за машиной, в основном это были литовцы. За день до того, как мы должны были явиться в полицию, в нашем дворе женщина повесила ребенка, а вслед за ним повесилась сама. Муж ее был офицером с Западной Украины, а женщина была беженкой, но дальше на Восток она убежать не смогла. Соседи весь день приходили и говорили нам, чтобы мы спрятались, но куда можно спрятаться?! Наутро вся улица была перекрыта. Немецкое министерство внутренних дел работало вовсю. Из всех дворов вытаскивали евреев и вели их строем по улице. Люди шли с плачем. Нас провели через весь город, через южный поселок. Направление было понятным – там уже расстреляли девять тысяч. В конце города были вырыты противотанковые рвы – мы взглянули туда: в них были горы трупов. Нас палками и плетками заставили их закопать. Я снова должен извиниться перед министром внутренних дел Израиля за натуралистические подробности, которые могут его огорчить: все происходит из-за моей стариковской привычки подробно отвечать на вопросы. Но все, что я пишу, – это лишь ответ на вопрос, почему у меня не было бар-мицвы. В тот момент я, кстати, и не думал, что моя бар-мицва когда-нибудь состоится.

Нас отогнали от края ямы и тех, кто был одет получше, заставили раздеться. У тети Мани была отличная шуба, и полицай ее снял. Полицай ходили между нами и всех оглядывали. Мать стояла и плакала. А на руках у нее плакал маленький брат Люсик. Ему было полтора года, и он очень смешно научился болтать. Он смотрел в окно и говорил «флицы идут». Полицейский взял Люсика за ногу, подобрал в воздух и выстрелил.

Я, кстати, вспомнил об этом, когда меня выставляли с полицейским из министерства внутренних дел, но я вообще не выношу полиции.

Нас подвели к краю пропасти. Я помню, что мы все время держались с Исааком за руки. Он был старше меня на полтора года. «Был» – потому что это был последний день, когда Исаак действительно был старше. Через несколько часов мы станем ровесниками. Через год, когда в тринадцать лет меня подберет партизанский отряд, я стану старше Исаака лет на десять. В четырнадцать лет на меня будет объявлен всесоюзный розыск за самосуд над семьей полицая, и с этого момента по возрасту нам будет уже никогда не сравняться.

Исаак много плакал перед тем, как я уехал в Израиль. Он вообще часто плачет, мой старший брат Исаак. Сейчас звонит из Запорожья и спрашивает меня по телефону: «ехать или не ехать». Я советую ему погадать на ромашке, но двадцать восьмого марта 42 года Исааку было 13,5 взрослых лет, а мне щенячьих двенадцать.

Когда немец со стеклом поднял руку, Исаак дернул меня за руку и мы с ним первыми упали в ров. Раздались выстрелы, и на нас сверху стали падать люди. Противотанковые рвы в Запорожье рыли довольно глубокими, метра два, танк в них проваливался целиком. Мы лежали на самом дне, и очень скоро кругом стало темно. Но не ночь. Выстрелов было еще много. Полицаи ходили вдоль ямы и добивали раненых. Время остановилось, и сколько прошло часов, я не помнил. Сначала я пытался найти в яме мать, но Исаак сказал «не ищи». Он спросил меня: «Ты ранен?» И я сказал «нет». Мы лежали среди тел, пока совсем не стемнело. Я уже начинал задыхаться. И тогда он сказал «поползли». Вдоль всего рва росла прошлогодняя трава, сухостой, а по тропинке ходили немец и литовец. То в одну сторону, то в другую. Встречались и снова расходились в разные стороны. А на бугре несколько полицейских жгли костры и громко между собой разговаривали. Исаак шепотом объяснил мне, что мне нужно успеть пересечь тропинку, пока фашисты расходятся в разные стороны. И он уполз. А через несколько минут следом пополз я. Исаак уже исчез в бурьяне. На Украине такую траву назы-

вают сухим лопухом. Высотой, наверное, полметра. Бурьян начинался сразу за тропинкой. Я улучил момент, подтянулся на край канавы и замер. В этот момент немец неожиданно повернулся и подошел ко мне вплотную.

Это был немец, а не полицейай, потому что он был в каске, полицейские касок не носили. Это был молодой рыжий парень, в отсветах пламени мне было хорошо видно его лицо. Он пристально всматривался в темноту, а я лежал на тропинке, как парализованный, и смотрел ему в глаза. Вдруг он вскрикнул «Майн Гот!», побежал к полицейскому, и я услышал слова «швайн» и грубую немецкую брань – это он отогнал полицейского подальше от меня, в сторону горящего костра. Я прополз через тропинку, и в бурьяне меня уже поджидал Исаак.

Сейчас я думаю иногда, что бы он делал, если бы меня поймали. Это значило перебраться, рискуя жизнью, через тропинку и остаться на всю оставшуюся жизнь одному – хорошо бы сейчас со мной такого не произошло.

Пропустил меня немец, спасибо. Всегда это помню. Молча мы проползли метров четыреста и оказались на большаке. Сейчас там идет асфальтированная трасса Москва-Симферополь. В сорок втором году по этой трассе шли «меняльщики». Любую вилку, ложку, любой предмет можно было менять в селах на картошку и крупу. Тогда еще не было большого партизанского движения, и людям разрешали ходить по дорогам. Мы шли всю ночь и перед рассветом дошли до реки Конки. Это километров тридцать. На берегу было несколько костров, меняльщики отдыхали. Народу было очень много, как днем: за Конкой деревни были еще не обобраны. У реки Исаак сказал: «Посмотри, на кого мы похожи!» Ночью было незаметно, что одежда у нас пропитана кровью. К нам подошел старик меняльщик и отвел нас в сторону. «Хлопцы, – сказал он, – вам надо поменять одежду, чтобы вас не принимали за городских. Ось тоби футайка, а тоби куртка». Старик понял, откуда мы идем, весь город знал, что ночью были расстрелы. Нашу одежду старик забрал к себе в мешок, а нам дал за это кусок сала и хлеб. Он возвращался из деревни, и у него в мешке уже была еда. Мне очень неприятно, что накануне раввинатского суда по выяснению моей национальности я должен упомянуть этот кусок сала и всю некошерную еду, которая нам перепала по пути, но моя бар-мицва еще в четырехстах километрах пути, еще в девяти месяцах бродяжничества, еще в декабре, и председатель раввинатского суда должен учесть это как извиняющее обстоятельство.

Еще старик меняльщик дал нам несколько зажигалок, сделанных из патронов. «За эти зажигалки в любом доме вас накормят, – сказал он, – но до темноты в деревне не показывайтесь, днем тут много полицаев. Идите пешком в Ростов, там наши. Реку не переходите, потому что на мосту патрули, а идите по-над речкой до села Пятихатка. Там пересидите ночь, село большое. Главное, передвигаться только ночью». «И уйдите подальше от центральной трассы!» – повторил он.

«Ты заметил, что я начал заикаться?» – спросил меня Исаак. Старик ушел, а мы попробовали, как работают зажигалки, и побрели в направлении Пятихатки. Зажигалки были немудреными: винтовочный патрон, к нему припаивается трубочка и колесико. По дороге Исаак сказал, что мы должны научиться говорить не картавя. Мы оба сильно картавили. И мы стали тренироваться, путать украинскую и русскую речь, так, чтобы не слышно было «р».

Сейчас Исаак выберет, в какой дом попроситься переночевать, сейчас он войдет в деревню Пятихатка и сделает неудачный выбор, который перевернет всю нашу жизнь – мою и его. Я вернусь в Пятихатку через два года прожженным партизаном с двумя боевыми медалями, я вернусь сюда по дороге из военного госпиталя, где я после двух лет разлуки увижу моего брата, шестнадцатилетнего артиллериста Исаака, валяющегося с ампутированной ступней. Я войду в этот дом и смету и сам дом и его обитателей с лица земли. Но пока мне еще только двенадцать лет, и два еврейских мальчика, которых государство Израиль упорно отказывается принимать за своих, вступают в украинскую деревню Пятихатка, пытаясь разучиться картавить.

Исаак выбрал большой красивый дом слева от дороги и постучался. Дверь открыла дородная хозяйка. «Вот вам зажигалка, – торопливо проговорил Исаак, – покормите нас, и мы хотим переночевать!» Хозяйка осмотрела нас и впустила. «Сядь коло меня», – сказала она Исааку. Дальше я ничего не помню, я не спал две ночи, и ноги меня уже не несли. Я прислонился к большой русской печи, и глаза сразу сами закрылись.

А Исаак поковырял ложкой кукурузную кашу и тоже заснул. Проснулся я в руках у полицейца.

Пока мы спали, хозяйка пошла в полицию и сказала мужу, что она поймала двух жиденят. Исаак сделал неудачный выбор: мы попали в дом полицая. Нас вытолкали прикладами из избы и заперли в клуне, не дали ни воды, ни еды. «Не треба, утром расстреляем!» – сказал нам старший из полицейцев.

Я сел на солому, потому что стоять на ногах не было мочи. «Там спаслись, так теперь тут расстреляют! – печально сказал Исаак. – Там бы мы хоть возле матери лежали». «Подожди нюнить, – сказал я, – ночью разберем солому и сорвемся!» Но нам не пришлось разбирать солому. Через несколько часов мы проснулись оттого, что кругом шла стрельба, потом дверь распахнулась и кто-то зажег свечу. «Нема его тут! Вот два хлопчика сидят: раз сидят, значит наши. Тикайте отсюда, сейчас здесь будет богато полиции!» «В какой стороне Ростов?» – успел спросить я. «Вон туды!» – сказал наш освободитель, и мы побежали «туды». Ночь и день, потом еще ночь и еще день мы просидели в плавнях. Было очень холодно, но двигаться дальше нам было жутко. Ночью мы прижимались друг к другу и укрывались сухой травой. Я был каким-то бездеятельным, совсем на себя не похожим. Три дня все держалось на Исааке. Наутро он убил какую-то птицу и принес ее на палке. Мы разожгли костер. «Монька, отойди подальше, посмотри, виден дым или нет!» – скомандовал он. Потом Исаак смастерил нам шалаш. Обычно я был активнее и живее его, но мне было не приняться ни за какую работу. «Матери у нас больше нет, – сказал мне ночью Исаак, – мы остались в живых, но что дальше, я не знаю».

По пути к Ростову мы еще долго жалели, что мы ушли из этих плавней, где в маленьких озерцах водилась рыба, и мы оба основательно отъелись. Но мы встретили в лесу старика, который сказал, что Ростов переходит из рук в руки и до него еще четыреста пятьдесят километров пути, а это значило, что нужно было оставлять шалаш и двигаться дальше.

Шли мы в основном по ночам. Ночью было очень активное движение людей по дорогам. Дня через три нам еще раз очень повезло: мы встретили хорошего взрослого человека, который тоже направлялся к Ростову. Человек был грузином. Обычно мы называли его «кацо». Потом, уже после войны, когда мы начали сопоставлять все даты, мы поняли, что начало нашего пути пришлось на две пасхи. Семь дней еврейской пасхи, семь дней русской пасхи – еды на кладбищах было завались! Мы, как настоящие меняльщики, шли с котомками, и они были битком набиты кладбищенской едой, которую оставляли на могилах: крутые яйца, вареная картошка, даже стаканы с водкой. С «кацо» мы тоже познакомились на кладбище: он сидел на камне и чистил крашеное яичко. Рядом с ним сразу стало намного спокойнее: «кацо» понял, что мы евреи, и сказал, чтобы мы от него не таились.

Мы прошли по пути заброшенные немецкие колонии с громадными стогами, в которых было отлично спать, – украинские стога были намного меньше. Ближе к фронту меняльщики встречались реже. У них, конечно, проверяли документы, но евреев никто не выискивал и засыпать было не так страшно. В мае мы набрели на богатое греческое село и устроились к хозяйке вскапывать огород. Грузин поселился на другом конце села. Местная полиция на нас и на пленных внимания не обращала. Хозяйка-гречанка была доброй, кормила нас супом и пыталась истребить наших вшей. Мы нахватались вшей на постоянных дворах. Потом она передала нас русской Авдотье Поповой, мы ей тоже вскопали большой огород, целый гектар. Я вспоминаю какой-то странный момент: Исаак сказал, чтобы я вставал и шел работать, иначе хозяйка

не даст нам есть. Но я очень устал, поэтому выругался и сказал ему: «Давай отсюда, жидовская морда!» Исаак говорит, что этого не было, но я точно помню, что было.

Мы прожили в греческом селе весь май, уже начали созревать вишни. Но Исаак сказал мне как-то задумчиво: «После расстрела мы прожили уже два лишних месяца». У греков можно было остаться, многие пленные оставались. Но «кацо» сказал, что для меня и Исаака это небезопасно и нужно переходить линию фронта. Однажды вечером он нашел нас у Авдотьи Поповой и предупредил, что через день мы уходим. «Немецкие части пришли в движение, – сказал он, – и нам следует двигаться вслед за фронтом». Первая хозяйка, гречанка, засушила нам в дорогу сухарей и дала шмат сала, и Авдотья Попова тоже приготовила каждому из нас по мешку с едой. Люди стояли у своих заборов и следили, как мы уходим: мы пробыли у них в деревне полтора месяца и сторожили для всей деревни баштан. Мы все еще учились говорить без еврейского акцента, но нам это плохо удавалось. Это только в Израиле наш акцент кто-то может не услышать. Но немцы не обращали на нас особенного внимания, а тем более крикливые итальянцы. В шахтерских поселках стояло много итальянских частей. Шел уже пятый месяц наших скитаний. Исаак очень изменился: я перестал дразнить его девчонкой, только воровать он наотрез отказывался. Говорил, что лучше будет попрошайничать, чем воровать, потому что людям самим нечего есть. Но я таким не был. Как-то ночью в конце июля, когда мы закапывались в сено, «кацо» сказал нам, что он думает, что нам пора съесть чего-нибудь мясного. И я сказал, что тоже думаю, что пора. «Кацо» объяснил, что во дворе он приметил порося, но окошко в сарае узкое, и пролезть в него мог только я. «Возьми мою котомку и наполни ее дорожной пылью, – сказал он. – Как подойдешь к порося, сразу надевай котомку с пылью ему на голову!»

Поросянок успел пискнуть, но хозяева не проснулись. «Кацо» вытащил из сарая порося, а следом за ним меня. Мы ушли с нашей добычей за два села, где людей было поменьше. Грузин готовил этого поросенка часов шесть. Он его «томил». Сначала грузин вырыл яму, разделал поросенка, но шкуру с него не снял. Потом набил внутренности сухариками, обмазал его глиной и бережно положил в яму. И уже над ямой грузин начал жечь костер. Мы сидели как два голодных волчонка. Я мечтаю испечь что-нибудь по этому методу в Иерусалиме, но я не могу выбрать, кого же испечь. Дождусь Исаака, мы к тому времени оба получим свидетельства, что мы уже евреи, и испечем на склонах Иерусалима кошерного ягненка.

Поросянка мы ели три дня, потом снова зашагали к Ростову. По дороге мы еще раз застряли, на этот раз возле Алчевска: Исааку нездоровилось – мы прожили двенадцать дней возле колхозного поля и ковыряли из земли пальцами мерзлый буряк. Мы ждали, когда свекла оттаяет, и тогда ели. Мимо шли бесконечные колонны немцев, фронт был рядом, все время слышалась канонада. До моей бар-мицвы остается всего три месяца. До Ростова – четыре дня пути. Нужно заставить себя и мысленно, и на бумаге пройти этот путь, но мне очень тяжело на это решиться. Сейчас мне придется на годы расстаться со своим старшим братом, истории не перекроить, но каждый раз я заново жду, что из глубин памяти выползет артиллерийский тягач, у которого будут не слишком высокие борта!

До Ростова мы добирались приблизительно четыре дня – оба мы уже очень ослабли. Спали по стогам, выпрашивали какую-то еду: прохожие подавали неплохо. Я научился спать под открытым небом, и мне до сих пор этого часто не хватает. Наконец мы с Исааком были у цели – мы подошли к пригородам Ростова. Ростов был самой настоящей фронтовой полосой: окопы, лошади, танки, мотоциклетки. Документов никто не спрашивал – немцы пускали в город кого попало. Когда мы добрались до центра города, начался сильнейший обстрел, но с той стороны, с советской. Грузин очень хотел вернуться в армию – он был похож на моего сына Сашку – лысоватый, грузный, с густой черной бородой.

В Ростове в квартирах давно уже никто не жил: люди прятались от осколков в щелях. В каждом дворе была выкопана щель, там стояли бочки с водой. Только начался обстрел, мы

ринулись в первую попавшуюся щель, и вдруг появилось такое чувство, что наши рядом, что «пронесло». Я, как всегда, сразу же заснул, никого не боясь. Километров за двести от фронтальной полосы уже никто не смотрел – еврей ты или не еврей, не в израильском Сохнуге будет сказано. Утром уже светало – вдруг на улице громкая русская речь. Во двор с грохотом въехал русский танк. Исаак засмеялся и сказал: «Все позади, мы остались живы! Нас освободили! Можешь спать».

Я не знаю, сколько времени прошло, час или два, но я снова проснулся, потому что женщина рядом с нами громко сказала: «Наши снова отступают!» Мы все трое – Исаак, грузин и я выбежали из щели на улицу. Мимо шла полуторка с нашими солдатами. Грузин побежал первым, ухватился и солдаты втащили его в кузов. Потом они подали руку Исааку, и он тоже оказался в кузове. Очередь была за мной. Я все-таки был намного ниже Исаака ростом: я догнал полуторку, прыгнул, схватился одной рукой, но вторая рука сорвалась! Исаак схватил меня за руку и вот в этом месте я хочу закончить мой рассказ.

Потому что сейчас они уедут в свою жизнь, а я упаду на землю и останусь в своей. Грузин не даст Исааку выпрыгнуть на ходу из машины, а я буду ждать их две недели, но наши войска уже не вернуться в Ростов. И между мною и Исааком будут пропасть и смерть. Потом я пойду бродяжничать по дорогам, и меня вместе с другими пленными захватят солдаты в немецких формах, и я снова буду сидеть в погребе и ждать допроса и расстрела. Солдаты в немецких формах – это партизанский отряд Супрунова, в котором я буду воевать два года, и у меня на глазах весь отряд целиком погибнет.

Сейчас Исаак отпустит руку – и я останусь в жизни, где мне придется жить по документам моего умершего двоюродного брата, служить по этим документам в Балтфлоте, кончать по ним политехнический институт, и по ним же я сейчас работаю уборщиком в хасидской ешиве. Но Исаак еще держит мою руку, я – еще я, я – еще Монька Лернер, через два месяца меня ждет моя бар-мицва! А сейчас я вишу на борту армейского тягача!

Время остановись! В этой машине уезжает мой брат. Я не хочу отпускать его руку.

## Банька по-чёрному

Наша тель-авивская гостиница для новых эмигрантов занимает четыре этажа. На седьмом этаже, где живу я, всего две газовые плиты. И чтобы вечером разогреть себе консервы, иногда приходится ждать своей очереди по сорок минут. Впереди меня в очереди стоит с ковшиком старик Григорий Савельевич. Я и сам инженер-механик, но Григорий Савельевич был инженером старой школы и строил ДнепрогЭС. У него даже сохранились почетные грамоты. Ему восемьдесят два года, а его жене семьдесят пять. У них двое детей в Ришон-ле-Ционе, которые обещают их забрать. Пока их не забрали, они живут в нашей олимовской гостинице и стоят в общей очереди на кухне. Григорий Савельевич старше меня на восемнадцать лет, но себя я стариком не считаю, хоть, может быть, и пора. В Тель-Авиве я уже год и после курсов работаю помощником сантехника. Неплохо. Пока я торчу тут в гостинице, на жизнь мне хватает. Напротив меня по коридору живет молодая женщина из Ташкента Валя. Ей тридцать четыре года, а ребенку восемь с половиной. Она относится ко мне с уважением, потому что я нашел себе хорошую работу, а это не всем удается. И после получки я покупаю ее сыну какие-нибудь сладости. Валя всегда здороваается со мной за руку. Я не задерживаю ее руку. Особенного внимания она на меня не обращает. У нее красивая рука, длинные пальцы. Ладонь всегда сухая. Вообще из-за этой руки я и начал писать свою историю. А может быть потому, что все повторяется.

Тридцать четыре года, сухая ладонь, и я снова работаю учеником сантехника. Только на этот раз – сам сантехник из Туниса, и шестьдесят четыре года мне, а не ему. И моего первого сантехника звали не Боаз, а Сергей Пахомович. Но все его называли по отчеству «Пахомыч». Это мелкие стариковские подробности, для меня они имеют значение.

Пахомыч нашел меня в эшелоне, который в конце сорок четвертого года шел с фронта на Восток. Может быть, без него я угодил бы в любой из детских домов, потому что на каждой станции несовершеннолетних снимали с поезда. К добру или нет, но в детский дом я не попал. Документы у меня были не очень хорошие, но Пахомыч знал мою историю. Он знал, что это не мои документы.

И он прятал меня, пока мы не добрались до Челябинска. У него там были родные, и Пахомыч сказал, что дальше мы не поедem, останemся в Челябинске. Я добавил себе год и получил паспорт. А уже с паспортом устроился токарем на авиационный завод. Там я жил в общежитии, а Пахомыч жил за городом, в доме у казахов. У казахов детей очень много, но все устраиваются, и квартирного вопроса у них нет. Коек, правда, раньше не существовало, а все полы были закрыты войлочными ковриками. Сначала в таком доме идет помещение для овец, потом стоят коровы, потом лошади, а уже потом живут казахи. Запах сильный, но тепло из дома не выходит. А вот в моем заводском общежитии овец и коров не было, и холод поэтому был жуткий.

В нашем общежитии Пахомыч работал сантехником, а когда освободилось место, потянул за собой меня. Он сказал, что научит меня этой специальности за три дня, а работа будет легче, чем на заводе. Хоть смены тоже по двенадцать часов, но есть каптерка, можно запереться и поспать.

На завод шли работать только дураки. В основном мальчишки из деревни, которых еще не взяли на фронт, и какие-то темные бабы. Демобилизованные после ранений на завод работать не шли.

Забот для сантехника в общежитии хватало. Двенадцать умывальников, но несколько обязательно забьется, или батареи не работают, или котел. Продовольственную карточку свою я сразу продавал: холостякам она была ни к чему, и питался я в столовой. Да на карточку и давали не густо: хлеб, капусту и немного крупы, и еще свирипяное масло. Можно прожить

всю жизнь и о таком масле не услышать. Есть такое желтенькое растение с запахом, оно немного горчит. Его давят.

Вечером мы иногда ходили на танцы, но с девушками я не танцевал. Мы танцевали с краю, мальчишки в валенках топтались вокруг друг друга. Кто был не на смене, по вечерам играл в карты или пил.

После работы я возвращался в свою каптерку и ложился у батареи. Я поставил около своей кровати две секции, и лежать там было тепло. На соседних двух койках спали кочегар и рябой возчик. Я старался прижаться к батарее и думать о чем-то постороннем. О нормальной еде или о том, кто скрутил кран в умывальнике. Засыпать было страшно.

Я уже, конечно, видал разные виды, но мне до сих пор всегда снился расстрел.

Или снилось, как падает мама и пятилетняя сестренка. И как мы с братом выползаем ночью из расстрельной ямы. Или снился партизанский отряд, в котором я отвоевал два года.

К пятнадцати годам я имел уже четыре ранения. Два осколка сидят еще сейчас: в голове и в пояснице. Но ветераном войны меня не признают, потому что справок у меня нет, а свидетели давно на том свете. Барышня из Министерства Абсорбции сказала мне, что «осколки – это не доказательство». Каждый может насажать себе в голову осколков, может быть, просто взорвался бытовой электроприбор. И я с ней вежливо согласился.

Когда в сорок пятом году я слышал, что евреи отсиживаются по тылам, я сразу лез в драку, но к шестидесяти четверем годам я стал спокойнее, и спекулировать своими ранениями мне не хочется. Последнее ранение я вообще получил случайно: я возвращался с задания и шел мимо станции, где наши ребята завязали бой с полицией. И мне кричат: «Пацан, бери у раненого винтовку и отстреливайся!», – а очнулся я уже в госпитале. Вообще они не кричали «пацан», они звали меня по имени, но у меня в жизни так получилось, что я прожил до старости по чужим документам, и свое настоящее имя мне вспоминать тяжело.

Когда я закрывал глаза на койке, мне мерещилось, что я в кого-то стреляю. В полицаяев или в немцев – пленных мы не брали.

Мне и сейчас еще иногда это снится, хоть прошло уже без малого пятьдесят лет. Но сейчас я очень устаю и сразу засыпаю. Работа подсобника тяжелая, батареи приходится носить по этажам наверх, а сколько мне лет, мой хозяин пока не знает.

Зато с едой в Израиле нормально. Нет только свирипяного масла. Но я не большой любитель насчет еды, да и раньше им не был. В сорок пятом году в столовой кормили супом: перловка или крапива, изредка попадался кубик картошки. Днем суп, а вечером хлеб. Иногда я покупал что-нибудь у торговков, если были деньги. Покупал я тоже хлеб или сахар.

Начальником заводского общежития у нас была полька. Она же была воспитателем: ходила и целыми днями просила работяг, чтобы не ложились спать в одежде. Меня она тоже обычно по пути отчитывала, но я всегда огрызался. Я уже свои два года отвоевал, и я не любил, когда мне делают замечания бабы. Женщин, кстати, в нашем отряде почти не было. У хозяйственника была жена, но я редко ее видел, и еще старуха Анисимовна готовила поесть. Может быть, еще парочка была, но таких, которые без признаков пола. И я, конечно, знал, от чего родятся дети, но не больше. Я даже от мата краснел, как девочка, долго не мог привыкнуть. И начальница нашего общежития была для меня существом совершенно с другой планеты. Ее звали Стелла. Сколько я помню, начальница всегда ходила по общежитию в вязанных шерстяных платьях и в белейших валеночках. Или валенки она снимала у себя в кабинете и надменно шла по коридору в туфлях на высоких каблуках. И на плечи была накинута кашемировая шаль с большими цветами. Прошло пятьдесят лет, но такой я ее запомнил.

В сорок пятом году моей начальнице было тридцать четыре года. Красивая была полька – невероятно. Копна белых волос, две ямочки на щеках, закрытый воротничок, и говорила с милым-милым акцентом. За год до этого у нее на фронте погиб муж. Тоже поляк, из поль-

ской армии. Когда я представлял себе его, я думал, что у такой женщины муж должен быть генералом. У нас командир отряда был майором, но я даже представить себе их вместе не мог.

Недалеко от завода находилась польская часть, и я знал, что польские солдаты после смерти мужа построили ей большой бревенчатый дом с баней. Это все, что я пока о ней знал. Работяги иногда называли ее «шалава», но она на грубости мальчишкам никогда не отвечала.

Я помню, как я лежал зимой на своей койке, уже начало темнеть. В этот день в общежитии была какая-то авария, но мы с ней справились. И работать оставалось еще часа четыре. Кочегара и возчика в комнате не было, но я слышал, как Стелла вошла, включила свет и сказала мне недовольно: «Мальчик, сколько ты будешь валяться на кровати с грязными ногами? Когда ты научишься ходить в душ?» Она залезла ко мне в тумбочку, вышвырнула оттуда все мое белье, осмотрела его и поморщилась.

Потом она сказала: «Мальчик, белье не должно быть таким грязным. Вот тебе ключ, ты знаешь, где я живу?»

Если дочка нет дома, откроешь себе сам. Наруби дрова во дворе. Ты умеешь истопить баню? Добже!»

Я сказал: «Я еще смену не сдал, мне до семи работать», но она только отмахнулась, сказала: «с твоей работой не будет ничего», и я потащился к ней.

На пригорке стоял крепкий сибирский сруб. Дверь была заперта. Но я не стал возиться с ключом, а просто перемахнул через забор и начал колоть дрова. Напиленные чурки привозили из польской части. Дочка пришла домой, когда я уже топил. Дочке было лет четырнадцать. Она была похожа на мать, только веснушчатая и рыжая. Дочь последила за мной глазами, потом спросила: «Это мама вас прислала?» Я сказал «да». Она говорила по-русски чисто, как говорят сибиряки. Дочка была в седьмом классе. Я был старше ее на полтора года, но я пропустил несколько классов из-за войны. Я топил, а дочка делала уроки. Я следил, как она делает уроки, из-за ее плеча и подсказывал правильные ответы. Я решил, что она мне не нравится. Она была ужасно вялой, все время казалось, что она вот-вот заснет. Даже звали ее сонным именем Фаина.

Уже совсем стемнело, когда начальница вернулась домой с работы. Я посмотрел на нее исподлобья и сказал, что все готово. Она положила на табуретку сумочку и неожиданно погладила меня по голове. Я не любил, когда ко мне относились как к маленькому, и покраснел.

Полька сказала: «Не выскакивай без ватника на улицу, ты простудишься, мальчик». Я ничего не ответил. Я не простужался без ватника. Я два года прожил с партизанами в землянках, у меня было две медали. Полька зашла в баню, вдохнула и сказала «хватит». И попросила наносить в котел чистого снега. И я начал носить снег, но снег сразу таял, и воды оставалось очень мало. Наконец, я наполнил котел и вернулся в дом. Она сказала: «Иди умой руки, мальчик!» Но я проследил за ее взглядом, нашел тряпку и вытер от снега пол. Я знал, что она ненавидела, когда пол оставался мокрым.

Потом мы сели ужинать. Стелла выставила из шифоньера не «самогон», а настоящую «московскую» водку, и чуточку выпила. Она все время нам улыбалась и говорила мне с акцентом «молодец». Дочке она сказала: «мальчик у нас працует» и продолжала спрашивать меня и ее о школе. Но настоящего светского разговора не получалось. Меня очень разморило, я даже засыпал за столом. Непривычным было, что пища была нормальной. Как у меня дома. Полька пошла в свою комнату и вынесла мне пачку мужского белья и халат. Я никогда раньше не видел махровых полотенец. Я был не из бедной семьи, просто у мамы и папы было очень много детей. Они все погибли в один день. Только мы с братом выбрались, потому что в момент, когда раздалась выстрелы, брат толкнул меня в яму.

Начальница сказала: «иди, мальчик, мойся», – и продолжала говорить с дочкой. И я пошел в баню. Я был неспокоен. У меня было какое-то странное предчувствие, но я не мог объяснить его словами.

Я уселся на широченную струганную лавку и начал медленно намываться. Когда я кончил мыться, начальница зашла через тамбур. В доме у них было три большие комнаты и коридор. А в баньку можно было попасть через тамбур. Она вошла в халатике, а я сразу сел на корточки и стал от нее прятаться. Но начальница сказала: «Что ж ты прячешься, мальчик?». И само собой получилось, что мы перешли на «ты» и я назвал ее Стеллой. Она сказала: «Ложись, я помою тебе спину!».

Я лег на живот, и она стала меня всего мыть. Очень медленно. Ничего, кроме этого, не происходило. Я как-то странно относился к происходящему. Я ей подчинялся, как пьяный. Потом мы вернулись в комнату и выпили еще чаю. Она включила мне приемник и сказала: «Теперь, мальчик, пойду мыться я». Дочка тем временем посмотрела на меня, повертела плечами и пошла к себе в комнату. А я сидел в махровом халате и думал, в чем же теперь мне возвращаться к себе в общежитие. Может быть, она мою одежду сожгла?

Но в общежитие мне возвращаться не пришлось.

Через десять минут Стелла крикнула мне из бани: «Мальчик, иди помоги мне!». И я, еще ничего не понимая, пошел. Она сказала: «Теперь твоя очередь помыть меня», – приподнялась на лавке и протянула мне мочалку. Мочалки были из грубой рогожи, но розовое туалетное мыло я тоже видел впервые. «А что делать с халатом?» – спросил я. «А халат повесь рядом с моим», – ответила она по-польски, глядя на меня в полутьме.

То, что потом происходило, мне не очень понравилось. Ничего грязного не было, и я мог бы это описать, но я не люблю, когда об этом рассказывают старики. Вот это мне кажется неприличным. И в бане я ничего испытать не успел. Когда в бане стало холодно и доски начали остывать, Стелла одела меня и отвела к себе в комнату.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.